

ПОСЛУШАНИЕ

– ...будешь бит...

– Буду, и крепко буду...

Так в промедление ночи солнце приблизилось к востоку и стало просвечивать небо, отчего горы светлели и постепенно вытягивались из черной необъятной стены в рыжеватого крептина острые пирамиды. Скучившийся народ притаился, притих, и даже дышал промедлительно и не часто, как бы боясь вспугнуть чаемую надежду...

– Должно быть, хотя, впрочем, едва ли... – сказал кто-то бессвязно.

– Неужели и ты полагаешь, что Моисей? – спрашивали иные.

– Я не полагаю, – отвечал другой спешно, – я верую...

– Родина – не сон, – говорил, плясь в тень будущего солнца бабушке старичок.

– Это верно, как и то, что прямо... – соглашалась она.

– И криво, – весело улыбнулся на уже вспыхнувший белый восход разбитым в кровь лицом иннок в потрепанном подряснике. – Много били, а могли и не бить, но такова природа естественного отбора. Хорошо били. Надо поставить за них свечку. Какой урок преподнесли, жаль только, что поздно, но и в детстве было еще не время...

– Странная штука – время: никакого постоянства. Сначала только началась жизнь, а уже пора собираться... Ведь только-только развиднелось и скоро-скоро стало ясно, как вот тебе и запоздалось во времени. После и сказать бы, вскрикнуть над горами, но это уже совершенно не кстати...

– Пойдем, философ, – прервал размышления клоуна Гоши, – отмывать свои рожи от крови и грязи. Хвала Богу Нашему и благодарение за молитвы святому пророку Моисею, что повидались на месте скрижалей, брат.

Так они спускались тропею одинокого монаха, обходя поток согляда-таев с горы Хорив, где год назад прозрел слепорожденный по молитвам Ильи пророка, которого крошка-мальш никогда не видел.

– Неплохо сходили, – говорил клоун, – какую-никакую, а все ж память привезем: разбитые морды.

– Так, похоже на нас, без малого, триста лет тому назад, возвращался в Александрию из Святой Земли, практически наш сверстник Василий из Бар. Тогда его крепко отмутузили палестинцы, потому как слишком добрым и доверчивым было его лицо, а излишний трепет перед святостью земли, по которой ходил Сам Господь, смутили арабов, полагавших, что дрожит Вася за серебряные гроши, спрятанные в тряпках на дне его мешка. Ободрали его как

липку до нага, а он, знай, только одно талдычил: «Господи, помилуй... Господи помилуй...», – чего арабы не понимали с его языка и потому били крепко, так крепко, что после тело покрылось коркой засохшей крови, и только выбранные места казались неодетыми. Василий всю ночь пролежал на камне пустыни без памяти, а молодые умельцы из Иерихона прослезились, когда в холщевой свитке не обнаружили, кроме двух-трех черных сухарей, подрясника ветхого и псалтыри, ничего путного, по их разумению. А нас с тобой даже не ограбили и не раздели, и побили не арабы, а наши славянские нялопаи, да и поделом побили. За то, что мы вместо псалмов и молитв ко Пророку о его заступничестве, стали научать их не пить пива на восход солнца. Смешно и глупо. Разве мало стоило Мухаммеду застыть перед крестом Господним, застыв на входе во святую обитель великой мученицы красавицы невесты Христовой Екатерины, заставив замолчать буйное войско, громившее на своем пути доселе от самой Босры вся и всех христиан, соборы и маленькие часовни, города и веси... Дрогнувший сердцем Мухаммед пал перед сияющим белым серебром выцветшим духоносным старцем Иеремией и в рыдании возопил: «Отче святой, помолись о моем спасении, не могу более, душа моя и очи захлебываются в кровавом море слез матерей и младенцев, забитых как агнцы моей гордынею...»

Старец погладил ласково его голову и сказал:

– Встань, ибо и я грешник. Только Господь ведает, кто из нас дальше от греха. Остановись, и тебе время припело.

Мухаммед поднялся, вытянулся перед войском:

– Всё! – крикнул на небо и после долго глядел на застывший многотысячный строй. – Я дарую святой обители свободу на все времена и тысячу моих александрийских рабов-бедуинов, пустынных верблюдов, два стада мулов, чтобы во все века оне трудились и здесь во славу Всевышнего до скончания веков, в чем свидетельствую грамоту на нитрийском золотом пергаменте... – однако после этих слов, он как-то весь охарахорился, но скоро, увидев кроткий младенческий взгляд старца и обильный поток горьких слез на его иссохшем сером от времени лице, растерялся, заерзал...

– Странно, Мухаммед, все это слышать от тебя, – сказал ему тихий старец. – Трудно, верно, по слову Господа, верблюду пройти сквозь игольное ушко. Ты, ведь знаешь, что и я знаю! смерть она всегда рядом, но жизнь вечную наследуют не все. Зачем же ты лукавишь, брат, когда знаешь?

Мухаммед держал паузу. Войско насторожилось. Уж слишком странно вел себя Иеремия перед их всемогущим предводителем, но какая-то доселе невиданная сила понуждала перед простотой и тихостью одинокого пустыни-

ника сгибаться. Все в ту минуту застыло. Даже пчелы и птицы замерли в полете. Сколько продолжалась та минута никто не ведает. Известно лишь, что Мухаммед первым отступил на шаг назад от Иеремии и сказал:

– Все, – отчаянно кротко, – большего я понести не могу.

– Да, – согласился старец, – не велика твоя сила. Напрасно ты прошел столько пути, изнуряя войско, ибо никто не может и не должен переть против рожна, по слову Господа Павлу. Ступай с Богом.

Мухаммед еще на шаг отступил. Поезд без команды разделился на две колонны. Одну составляли бедуины и их семьи. Вторую – сильное войско. Последние ушли навсегда, оставив грамоту и бедуинов, который и теперь служат монастырю.

– К чему все это? – спросил инока клоун Гоша.

Георгий промолчал.

Внизу, у главных ворот обители, вблизи костницы братья отмыли грязь и кровь холодной водой. Никакого расстройства в их чувствах не было. Скорее даже их глаза сияли не земною радостью, но это видели лишь согляда-таи, кого оне неспешно минули, не завернув в саму обитель. Гоша так еще и юродствовал, подхихикивал. Им навстречу прошли четыре юных красивых смуглых всадника на молодых крепких верблюдах, весело и шумно приветствуя свысока инок. Тот лишь в ответ поклонился низко, чем едва шевельнул удивление в головах наездников. За спинами уже пылали Синайские горы, а впереди, по правую руку волнами стлался по пустыне белый, как снег песок. Над ней довольно низко шел на парусах Ларион. Георгий узнал почтового, приободрился. До скалы золотого подтелка оставалось несколько шагов. Ларион первым достиг края, сел и сторожко уставился на инок, ожидая сигнального свиста. Георгий умело заложил пальцы в рот и трижды просвистел гимн кононарха. Почтовый весело ударил крылами по бокам и тотчас опустил на плечо инок.

Клоун изумился столь неожиданному повороту действия и тоже попытался перефразировать гимн кононарха, но Ларион никак на него не отреагировал и, даже напротив, скатился калачом прямо на ладонь Георгию.

– Ларион, – инок, покачав голубя на руке, представив гостя.

– Клоун Гоша, – игриво протянул в ответ руку птице.

– Не блажи Егор, – строго сказал брату. – Это почтовый от Вани. У него особая миссия.

– Ур-ур-ур-ру-ру-ру..., – прогудел почтовый, что иными человеческими словами значило: «Царице моя Всеблагая, Надеждо моя, Богородице!...» – и далее уже о другом: Ур-уру-рур-ру, – то есть: «Твой день и твоя правда»...

– Я знаю, – согласно кивнул Георгий, – сегодня моя правда и за то хвала нашему Господу.

Голубь нежно тюкнул клювом большую и крепкую ладонь инока и отлетел.

Егор пытался было увидеть, куда и как полетел почтовый, но тот исчез в мгновение ока так, будто его и не было. Обстоятельство столь неожиданного появления и исчезновения Лариона весьма подивило клоуна. Он пытался найти тому свое объяснение, однако разобраться быстро не смог. Любопытство раздирало его. Он взглянул на Георгия, чтобы спросить, как увидел перед собою вместо лица сияние солнца... Понятно, каков ужас объял Егора. Он даже зашатался и, хватаясь за жар пустынного зноя, едва устоял на ногах...

– Что все это значит? – вскрикнул в сторону инока.

– Помнишь, брат, – с обыкновенной ровностью голоса говорил ему Георгий, – когда я уезжал на Синай, на вопрос: зачем меня туда послали? – ответил: «Умирать», – все закричали, чтобы я не говорил глупостей, и лишь старый причетник Евсей сказал: «Будешь бит...» – «Буду, и крепко буду», – отрапортовал ему вслед.

– Ну и что?

– Ничего, Гоша. Прости за все. Голубь прилетел и я умираю.

Сказал последнее: «Господи, прости», – кланяясь, опустился на песок, затем неспешно лег, вытянулся вдоль белой пустынной простыни лицом к небу, перекрестился, сложил крестом на груди огромные трудовые руки и испустил дух.

* * *

... в аэропорт Каира рыдающего клоуна Гошу провожала толпа благодарных зрителей, которая не знала причины его слез и видела в том лишь новую репризу, и только один вышедший на встречу брату инока архиерей из Александрии, благословляя на дорогу, обнял ласково, чуть-чуть приоткрыл Егору совершенно непонятную тайну:

– Не скорби, – вздыхая, – он за послушание умер, чтобы ты жил.

ЗИМНЕЕ УТРО В ТЕЛЬ-КАУКАБЕ

В деревне Тель-Каукаб, куда стекаются все хрустальные воды горных рек, где преизобилуют фруктовые сады, виноградники и оливковые рощи, – это вблизи от Дамаска, если идти по дороге из Рима в столицу Сирии, – Русская Православная церковь построила на холме, на месте озарения Савла, в тепер уже далекие шестидесятые годы прошлого века храм. Справа от него